



«Предопределение»
в лермонтовском «Фаталисте»*

© Т. А. КОШЕМЧУК,
доктор филологических наук

В статье анализируется проблема предопределения, как она дана в главе «Фаталист» лермонтовского романа «Герой нашего времени». Проблема дается не в привычной дуальности веры в судьбу или неверия, но как целый спектр различных представлений о судьбе, проверяемых в лермонтовском тексте: судьба в мусульманском варианте, в христианском понимании, в простонародном представлении, в духе древних мифологических верований, с позиции здравого смысла и современного критического сознания, исходя из глубокого опыта жизни. Композиционная основа этих многообразных вариаций темы судьбы – поединок двух основных типов отношений с судьбой – в двух экспериментах, Вулича и Печорина.

Ключевые слова: фатализм, предопределение, эксперимент, судьба, грех, свобода.

* Окончание. Начало см. «Русская речь». 2016. № 4.

The article deals with the problem of predestination in the last part of the Lermontov's novel in chapter «Fatalist». The problem is taken not in the traditional dualism of the belief in fate or negation of it, but as a spectrum of different ideas about fate: Moslem, Christian, traditional people's beliefs, blind fate of old mythology, modern critical point of view, life experience. All these variants are organized in the composition of the text round the struggle of two types of relations with the fate – in the experiments of Vulich and Pechorin.

Key words: fatalism, predestination, experiment, fate, sin, freedom.

Вопрос, стоящий перед Лермонтовым в его 25 лет, – предопределение – одна из сложнейших религиозно-философских проблем, которую стремятся разрешить различные традиции и не достигают успеха. Причем внутри и христианской, и мусульманской культуры, к которым обращается герой, можно обнаружить многообразие ответов, если вспомнить острые богословские споры об этой проблеме. В поле зрения Печорина и античная мысль, древняя астрология. И вряд ли та или иная религиозная или философская традиция в XIX столетии могла быть воспринята Лермонтовым как дающая окончательный и исчерпывающий ответ, в полной мере удовлетворяющий ищущий истину человеческий разум. Не случайно, и опять же в различных традициях, внутри христианства и мусульманства, проблема в итоге воспринимается как превосходящая человеческое понимание.

Что касается западной философии, «метафизики», «метафизических прений», Печорин говорит о том с иронией... Важнейший источник лермонтовской мысли – личное созерцание жизни, индивидуальный опыт наблюдений, мысли и чувства, прочная опора здесь не в предшествующем, но собственное Я, личный опыт. И в поле возникающих в результате возможных многообразных ответов, различных ракурсов проблемы разворачивается лермонтовская – столь молодая еще и столь дерзко берущаяся за сложнейшие задачи – мысль, своя, индивидуальная, и уже предопределенная к раннему обрыву.

Перечислим основные вариации темы судьбы в сгущеннейшем тексте «Фаталиста».

Прежде всего, простое и жесткое предопределение в понимании Вулича. Оно непосредственно связано с мусульманским поверьем о написанной на небесах судьбе: «Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra». Герои бытового/народного сознания подтверждают или опровергают тезис опытно, случаями из жизни, которые всегда недостоверны, но воздействуют на чувства. Эксперимент Вулича на их фоне проверяет: своеволие в смерти – или ее предопределенность во времени. Итог говорит как будто в пользу

последнего. И недоумение Печорина связано не с сомнением в предопределении, но с его пониманием, со *странностью* вуличевского жесткого предопределения, до бессмысленности скрупулезного в своем предписании умереть в точно означенный миг: *спасает от верной смерти за полчаса до смерти*.

Иное понимание предопределения намечено в новелле как христианский взгляд на судьбу, как божественное предопределение (или предвидение, провидение – эти разные идеи не разграничиваются в новелле), и суть дела связывается с проблемой греха, ответственности и воздаяния, об этом говорит Лермонтов в отточенном философском вопрошании от лица одного из присутствующих, безмянного героя из хора (народного) простодушных собеседников: «...сказал кто-то...». «И если точно есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?». Если есть предопределение, то воля и рассудок излишни, и мы не ответственны за свои поступки – так следовало бы полагать в духе мусульманского и вуличевского понимания.

Европейское христианское сознание исходит из предварительной констатации: нам *даны* воля и разум – ценности безусловные, европейский человек не может мыслить себя вне их, и, далее, воспитанный в христианской традиции человек утверждает как данность и свою ответственность. Приведенные слова у Лермонтова произносятся после объединяющего: «мусульманское поверье о предопределении находит и среди христиан многих поклонников...». Проблемой является именно сопряжение, а не растяжка этих жизненных реалий в простую дуальность: *воля, разум и ответственность*, с одной стороны, с другой – *предопределение*. Эта связь обозначена в народно-христианском суждении, восполняющем противопоставленное – *грехом*: « – Побойся Бога. Ведь ты ... честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!». Неминуемая судьба казака-убийцы здесь понята как воля Бога, явная именно для христианина, с его знанием греха и ответственности за грех, который *попутал*. По смыслу высказывания, судьба преступника, неизбежная участь, ничего не поделаешь, раз уж согрешил, – сдаться, добровольно принять и понести наказание.

Так для Печорина – Автора – читателя – указан круг основных реалий жизни, названных, но не развернутых, и понимание может продуктивно разворачиваться с учетом их всех, включая и полярности, в сложнейшем единстве предопределения, греха и возмездия, свободы и ответственности.

Астрология древних и присущий ей фатализм, а также античное представление о роке и о тщетной героической борьбе человека с судьбой – эти идеи учитываются в размышлениях Печорина о *людях*

премудрых, думавших, «что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!..». Современный человек с его скепсисом, таковым Печорин считает и себя, противопоставлен этому мироощущению: «А мы, их жалкие потомки...», не способные к *жертвам на благо человечества, скитаемся по земле*, не имея, как они, «...даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою...». Печорин, несмотря на его иронию, понимает силу этой *смешной* позиции древних, утверждающей непосредственную, интимную связь человека, всех событий его жизни, с целым космосом: *все небо с бесчисленными светилами* участвует в его жизни. Для *современного человека* это лишь *заблуждение*, но этот современный человек оказывается в слабой и бесплодной для жизни (он отдает себе в этом точный отчет) мыслительной ситуации.

Так в одном из пунктов мыслительного круга этой новеллы дается Лермонтовым это противопоставление, еще одна дуальность: определяющее участие неба в жизни человека – его отрицание; впрочем, здесь размышления Печорина не отличаются серьезностью, в них очевидна нарочитая ирония человека, не достаивающего подвергнуть мысль глубокому и ответственному рассмотрению – да и вообще лучше смотреть не на небо, а под ноги... – и услужливый аргумент: иначе можно споткнуться об... убитую свинью. Итак, еще одна мнимая дуальность: либо наивная воодушевляющая вера в небесное предопределение, либо бесплодный скепсис – снимается другой дуальностью, заостренной в тоне небрежной шутки: или отвлеченные рассуждения о судьбе – или внимание к действительности. Но в круге авторского целого и здесь просматривается как возможность некая искомая цельность – связь человека с небом, участие небес в его жизни – и трезвый человеческий, лишь на себя полагающийся и все проверяющий разум, охват и небесного и земного.

Судьба человека рассматривается как естественный ход событий, вполне объяснимый с точки зрения здравого смысла и трезвого народного/бытового суждения. Осечка? – «Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем...». Вулич убит пьяным казаком? – это случай, но еще не рок, казак, может быть, не остановился бы, если б Вулич вдруг не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» – «Тебя!» Мудрый Максим Максимыч снова комментитрует: «Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!..».

В круге мыслей новеллы есть и абсолютный, опытно данный фатализм в словах Печорина: «Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!».

С абсолютным предопределением связана и обыденная/народная, глубоко укорененная вера в то, что жизнь человека не есть случайность,

но она законосообразна и индивидуальна: *своей судьбы не минуешь*. Эта бессознательная убежденность в предопределенности не только смерти, но и человеческой жизни, у каждого – *своей*, дается в ряде эпизодов новеллы и в сознании фактически всех героев «Фаталиста», кроме казака-убийцы (ему не дано голоса), и проявлена она прежде всего как бытовой, речевой фатализм, утверждающий *судьбу* в привычных оборотах речи. Использование подобных выражений присуще Печорину: он говорит о тех, кого Вуличу «...судьба дала ему в товарищи». Но и с иронией: «...видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не выплюсь». Далее, тот же речевой фатализм в словах казаков к убийце Вулича: «...нечего делать: своей судьбы не минуешь!». Наконец, Максим Максимыч: «Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...» – еще один речевой симптом неосознанного фатализма.

Народное восприятие судьбы с более глубокими нравственными, духовными оттенками ощутимо в часто произносимых словах *своей судьбы не минуешь* и *на роду написано* с печально-смиренной добавкой: *нечего делать...* Об этой черте русского народного сознания писал В.О. Ключевский в статье «Грусть. Памяти М.Ю. Лермонтова» как о «нравственном правиле, преданности судьбе, то есть воле Божией» с оттенком грусти, которая есть «художественное выражение» стиха: *да будет воля Твоя* [1. С. 264–265]. В этой непосредственно-наивной народной вере в судьбу божественное предопределение, лично обращенное к каждому, соединяется с ответственностью за вольно совершенное: « – ...уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать...» – и это вносит в конце новеллы нравственный смысл в предопределенность человеческой жизни. В том же ключе, но с характерным для всей новеллы сниженно-ироническом звучанием, не дающим мысли Автора сбиться в проповеднический тон (от чего не уберется далее русская литература), звучит еще одна реплика: « – Эй, тетка! – сказал есаул старухе, – поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только Бога гневить». Здесь прямое осуждение упорства в грехе снижается бесцеремонным *эй, тетка* и – комизмом следующей реплики, ставящей рядом с Богом и Его гневом – недовольство *господ*: «Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются».

Но характерно, что эта позиция – мудрость наивно-простодушного христианства дана в новелле и последней: Максим Максимович «примолвил, несколько подумав: – Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...». В этих словах, замыкающих всю историю, – несколько идей, точно выверенных Автором: сначала – жалость, она прозвучала и в печоринских словах о Вуличе: «я предсказал невольно *бедному* его судьбу»; потом указание, с точки зрения здравого смысла, на ошибку, роковой промах Вулича – и *черт дернул*, тут не обошлось

без темного импульса и в душе безумного убийцы, и в странном неразумии Вулича. Наконец, итоговое: *впрочем, видно, судьба...* Но предопределение *штука довольно мудреная* для Максима Максимыча – эта печоринская шутка снимает серьезность итога.

Есть в новелле и ничем не снятое, вне всякой иронии, опытно данное предопределение, обнаруживаемое в глубоких наблюдениях над жизнью, остро-критическом сознании и внимательном, холодном, созерцающем взгляде Печорина. То есть созерцаемое в опыте жизни предопределение, возможность прочитать предначертанное. Оно не просто есть, но человек может его понять, угадать по точным, визуально наблюдаемым признакам, причем читать эти симптомы могут разные люди, обладающие жизненной мудростью и опытностью. Об этом говорит Печорин, внимательно наблюдая за Вуличем в ходе эксперимента: «...я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться. – Вы нынче умрете! – сказал я ему». Здесь и обнаружилось недоумение Печорина, обозначенное в начале статьи, – после осечки: дан симптом близкой смерти, он Печориным прочитывается со всей определенностью, но – подтверждения не последовало, *странное* предопределение (дважды звучит это слово применительно к ситуации) явно дало о себе знать – и обмануло, – так казалось в тот момент.

Да, ангел смерти заглянул в глаза Вуличу, и Печорин, чуткий свидетель, тонко чувствует произошедшее. Высказанное печоринское недоумение вызвало *странную* же реакцию Вулича, обнаружившую его страх смерти (на что обратил внимание Г.А. Мейер, см.: [1. С. 895]). Но и нечто иное: «Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. – Однако же довольно! – сказал он, вставая, пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... – Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным – и недаром!..».

Действительно, у Вулича была причина для смущения: Печорин *неуместными* словами подтвердил его предчувствие, возможность близкой минуты смерти, не предотвращенной, не снятой, как оказалось теперь, отчаянным деянием... Вулич уходит в этом встревоженном состоянии смущения – навстречу случаю, сведшему его с обезумевшим казаком, и его неточная, ошибочная реакция на случай (зачем же *ночью с пьяным разговаривать*) не без подсказки темной силы (*черт дернул*) приводит к смерти – предрешенной ли? Казалось бы, сцеплением обстоятельств предопределение ведет человека к заданной точке. И в ней мог ли Вулич одолеть судьбу, в случае *не-захваченности* смущением и страхом мог ли он *не* остановить пьяного казака, если бы реакция его была

точной и здравой? Этот оклик – значительный симптом. Автор подчеркивает: казак «...может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: “Кого ты, братец, ищешь” – “Тебя!” – отвечал казак, ударив его шашкой».

Предсмертные слова Вулича сказали о том, что он не мог отделаться и в свои последние минуты от смятения, вызванного печоринской реакцией: «...он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: “Он прав!” Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне». И здесь Печорин не шутит, куда там! Он совершенно серьезен – перед этим стечением судеб, в котором он оказался соучастником и угадчиком. И здесь вновь подтверждение, самое глубокое в новелле, того, что названо нами опытным фатализмом: жизнь учит чуткого к ней человека слышать голос неотвратимого или созревающего будущего, знать этот предупреждающий об опасности голос в своей душе, *точно* понимать его.

Серьезности этого, данного в опыте жизни, печоринского фатализма противостоит его же принцип сомнения и проверки всего, особенно в том, что касается объяснения, теоретической оценки произошедшего в жизни. Печорин напрямую подвергает сомнению – не само предопределение, а напрашивающийся вывод из собственного переживания, утверждая в итоге сомнение как нечто самое несомненное: «Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..»; «... имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо...»; «...я люблю сомневаться во всем...». Наконец: «Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею, но я остановил себя вовремя...». После «да» на вопрос Вулича, *верит* ли он теперь, после его эксперимента, предопределению, Печорин наедине с собой подтверждает: *твердо верил* тому, чему тут же и посмеялся. Но в вере, как в чувстве, как и в выводах рассудка, Печорин не склонен отдаваться их течению, он останавливает себя – и смотрит под ноги. Он внимательно созерцает жизнь, дает ей высказаться, слушает ее язык. В отличие от Вулича. Его *твердая вера*, основанная на личном опыте наблюдения, и его *сомнение во всем* здесь сходятся и неполны друг без друга. Вопреки стараниям филологов выбрать одну из полярностей в качестве однозначного ответа.

Наконец, еще один и едва ли не самый темный и трагический лик предопределения – древний фатализм, отголосок мифологических верований, предопределение как иррациональная, темная, бессмысленная

судьба: два зарубленных кровавых тела в темной станице, труп Вулича и туша свиньи... Об этом «дьявольском параллелизме» писал Г.А. Мейер: «метафизическая авантюра, предпринятая Вуличем, пробуждает разгневанный Рок» [1. С. 896], здесь не без морализаторства: свинья – «греховный символ вуличевской попытки заглянуть в запредельное» [Там же. С. 897].

Да, будто темный и мстительный рок, *разбуженный экспериментом, обрушивается на него*, как... пьяный казак с шашкой... не разбирающий ничего на своем пути, – этот образ судьбы, ее бессмысленного действия дан у Лермонтова в жесткости оскорбительного сопоставления, для такой судьбы равно: что свинья, что яркая и сложная человеческая жизнь. И не только *странно* это предопределение, но отвратительно: ведет к смерти, оскорбительно свиноподобной. Как будто ничто не снимает в новелле этого жесткого оттенка: безжалостного издевательства свирепой судьбы. И какая странная логика: Вулич будто доказывает не-всесильность смерти: она не может коснуться человека, если его час не пришел. Но эта пристыженная на миг судьба-смерть отыгрывается: уравнивает в смерти со свиньей, так же случайно попавшейся под пьяную руку. И сам этот эксперимент Вулича – предстает в этом свете как... нечестивый, да ведь и раньше стоило сказать: в эксперименте Вулича изначально звучала эта нота – недолжности... Как будто в строе бытия нарушено нечто этим деянием, этим любопытствующим приравнением жизни к карточной игре – и напряженные кармические нити натянуты и дрожат... и в сложных связях жизни совершается резкий слом...

Но все же реакция рока, если это *разбуженный рок*, непомерно глумлива! Заслужен ли этот финал, эта оценка его жизненной позиции – как «свинство», Вуличем, с его старанием *иметь вид существа особенного*, дерзко обращаящегося с судьбой, с его пристрастием ко всему роковому? ...Возможно, мы ошутим здесь некую логику судьбы Вулича, а в его отношении к жизни, не знающей свободы, и к предопределению-счетоводу почувствуем нечто дочеловеческое, животное... или вынуждены будем признаться: логика эта неразгадываема, если мы смотрим только на эту, текущую в этом отрывке жизнь, и глубже где-то, в предшествующем, сокрыто, быть может, то, что дало бы понимание этой жизни, ее закономерностей, – но туда не дерзает смотреть печоринская и авторская мысль. Читателю стоит в любом случае остановиться при искушении морализаторской оценки. И эта туша зарубленной свиньи, о которую *едва не споткнулся* Печорин, – это безобразия в действии предопределения, кажется, ничем в новелле не снято...

Последнее в круге версий и в самом романе Лермонтова: предопределение и свобода. Да, возможны иные, чем у Вулича, отношения с судьбой, и Печорин, выше всего ценящий свободу, разрешает этот эффект

павшего тяжким грузом оскорбительного предопределения: человек как игрушка рока, подобного шашке безумца. Стремительно разворачивается второй сюжет: пьяного казака, убийцу Вулича, отказывающегося сдаться, убедить нельзя, при захвате он может еще кого-то *положить*... Выказано и предложение *пристрелить* его через щель – на глазах у его матери-старухи. И Печорин – из свободно принятого решения: *я вздумал*... – начинает свой эксперимент, поединок с судьбой, однако полный смысла, спасительный, разумный: он, не говоря этого, по сути, спасает убийцу от смерти без осознания содеянного и без покаяния, спасает других казаков – от риска смерти в прямой попытке захвата, мать казака – от отчаяния. Себя – от оскорбительности той судьбы, которая так бесстыдно кажет свой безумный лик. Без всяких патетических и высоких слов он говорит свое, облегченное: «...подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу».

Провидение не алгебра, – говорил Пушкин. Это сложное единство Лермонтов и обрисовывает в своей мастерски построенной новелле, в рамках изящной словесности, нигде не выходящей в трактат, и тема ее в как будто спонтанно сменяющихся вариациях звучит без явного нарастания, не устремляясь к конечной высокой кульминации или к разрешению. Здесь лишь начало, исполненное драматизма жизненное поле, и писатель играет многими гранями в многозначности центральной проблемы, из круга которых открываются пути для дальнейших проникновений, пути, к которым мог бы он обратиться далее. Если бы не *вечно печальная дуэль*...

Литература

1. Лермонтов М.Ю.: pro et contra. Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2002. Далее указ. только стр.

*Санкт-Петербургский
государственный университет*